

Экономика, литература и Великие реформы*

Итальянский филолог-русист, профессор Пизанского университета Гуидо Карпи дал своей новой книге название, которое не может не заинтересовать историка, и не менее интригующий подзаголовок. Смысл названия понять нетрудно. В эпоху Великих реформ практически каждый образованный русский считал себя экономистом, герой же книги Фёдор Михайлович Достоевский был буквально одержим социально-экономическими сюжетами – и как писатель, и, конечно, как публицист. Так, герои его романов, как известно, постоянно думали и рассуждали о деньгах (наиболее очевидным символом экономической реальности), претерпевали поистине экзистенциальные страдания из-за их отсутствия и одновременно презирали их. Историческую диссертацию на подобную тему можно было бы на скучно-академическом языке назвать «Социально-экономические проблемы пореформенной России в восприятии (или – “в творчестве”) Ф.М. Достоевского».

Впрочем, автор понимает задачу своего исследования гораздо шире. В самом деле, каков возможный предмет социологии литературы? На ум сразу приходят социальные аспекты писательского труда, издательского дела, чтения (именно так социология литературы рассматривается, например, в известных работах А.И. Рейтблата¹)? Однако из предисловия к книге Карпи становится ясно, что он концентрируется совсем на другом, а именно, на соотношении литературных форм (сюжета, поэтики, языка) и социальной реальности – теме необычайно сложной прежде всего из-за опасности «вульгарной» трактовки такого соотношения. В качестве методологической основы выступают при этом идеи известных французских социологов Люсьена Гольдмана и Пьера Бурдьё о «гомологии» или «изоморфно-

сти» социальных и поэтических форм. Замечу, что марксист Гольдман трактовал параллелизм между двумя видами реальности (социальной и литературной) гораздо более прямолинейно по сравнению с Бурдьё. Экономические основы капиталистического общества (деньги как фетиш, примат меновой стоимости над потребительной ценностью²), считал он, *напрямую*, минуя общественное сознание, отражаются в структуре западного романа, герои которого в поисках утраченной истинной (т.е., по Гольдману, потребительной) ценности вещей создают свои собственные миры³.

Но дело, конечно, не в давних теориях, а в том, какого рода оптика и исследовательские процедуры используются для интерпретации литературных произведений. Принято считать, что у филологов по сравнению со склонными к социологизации всего на свете историками эти процедуры гораздо тоньше и изощрённее (я не имею в виду официальную советскую филологию). Рецензируемая книга последовательно опровергает такие стереотипы. Объясняя свой подход к Достоевскому, Карпи, например, предлагает применить его и к «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина. Получается «дочь “зажиточного поселенина”, обедневшая вследствие вторжения рыночных отношений в хозяйство её семьи и погибшая в неравном столкновении с городским миром» (с. 12). Шулеры в «Игроках» Н.В. Гоголя именуют свои слаженные действия модным тогда экономическим понятием «разделение труда». Карпи безо всякой иронии пишет по этому поводу: «Гоголь намекает на то, что если в Европе падение феодальных отношений в результате капиталистического разделения труда приводит к промышленному производству и накоплению капиталов, то в России феодализм в процессе раз-

* Г. Карпи. Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы. М.: Фаланстер, 2012. 236 с.

ложения проходит тот же путь в других формах паразитического существования, таких, как азартные (шулерские) игры» (с. 39–40).

Другой пример: «Уже Лев Пумпянский заметил равнодушие Пушкина к миру провинциального города, который так интересовал Гоголя». Что же случилось между 1823 («Евгений Онегин») и 1838 («Мёртвые души») годами? – спрашивал Пумпянский. Ответ Карпи: «Произошло то, что рано или поздно должно было случиться: целое сословие окончательно разорилось» (с. 13). Стоило бы, вероятно, спросить, отразилось ли в каких-либо исторических источниках это «окончательное» (?) разорение помещного дворянства в полтора десятилетия, ознаменовавшихся, кстати, стабилизацией рубля, широким развитием казённого кредита и активизацией хлебной торговли?⁴ Мне такие источники не известны. Подозреваю, что профессору Карпи тоже. Не логичнее ли было бы в таком случае, анализируя литературное произведение, говорить прежде всего о сознании великого писателя, не отождествляя его с окружающим миром? Более рискованными, но интересными были бы в этом случае рассуждения о различиях в «культурных кодах» александровского и николаевского царствований. Делать же на основе своеобразно понятых «Мёртвых душ» выводы о состоянии российской экономики – всё равно, что реконструировать судопроизводство Австро-Венгерской монархии по «Процессу» Франца Кафки.

Впрочем, у столь смелого экономического детерминизма (а именно он ведёт к такому прочтению литературных текстов) есть своя историографическая предыстория – я имею в виду, конечно, школу М.Н. Покровского, о котором Карпи отзываясь с большой похвалой (с. 26). Видимо, Покровским навеяна и социологическая интерпретация ранних произведений Достоевского (и других авторов «натуральной школы»): «Череда “мечтателей”, живущих в полном разладе с окружающим миром, – это портрет абортивной буржуазии, того зарождавшегося среднего класса, о котором с излишним оптимизмом мечтали либералы 40-х и укреплению которого пытался в 30-е годы

способствовать Николай I. Однако в 40-е годы образование независимого и дееспособного среднего класса оборвалось» (с. 27). Читателю остаётся гадать, отчего. То ли Николай I передумал создавать буржуазию, то ли разорение дворянства вдруг оказалось не окончательным...

По сравнению с николаевской Россией, в эпоху Великих реформ, которой, собственно, и посвящена книга Карпи, гораздо проще обнаружить следы социально-экономических переломов, переворотов и мутаций. В стране в это время действительно появились элементы «капитализма», дворянство действительно стало стремительно утрачивать свои социально-экономические позиции и т.д. В текстах Достоевского этого времени не надо *вычитывать* экономические мотивы – они бросаются в глаза. Писатель и не собирался зашифровывать свои мысли и рассуждения на эту тему, неплохо понимали его и тогдашние читатели. Тревоги Достоевского, эволюция его взглядов, его публицистика и место в общественно-политическом пространстве конца 1850 – начала 1880-х гг. проанализированы в рецензируемой книге достаточно основательно. Убедителен (на мой «нефилологический» взгляд) и литературоведческий анализ мотивов спекуляции и денег в романах писателя. Здесь Карпи выходит за пределы эксплицитного, «публицистического» смысла текстов Достоевского и углубляется в неявную символику денег и наживы в его произведениях. Ему удалось также связать два этих плана (общественно-политический и собственно литературный) и показать, как именно через «экономику» Достоевский актуализировал и тестировал «вечные» нравственные проблемы.

Однако почему экономические сюжеты так занимали Фёдора Михайловича? Согласно Карпи, дело было отчасти в личной судьбе писателя, а в основном – в объективных и кричащих противоречиях социально-экономического развития страны в 1840–1870-х гг. На мой взгляд, причины этого не сводимы ни к тому, ни к другому. Понять такую увлечённость экономикой можно только в более широком общеевропейском идеологическом контексте. Новая финансово-промышленная

реальность; одержимость людей духом наживы; фиктивность денег как знака, означаемым которого оказываются не материальные ценности, а пустота, воздух; противоположность спекулятивной игры производству (особенно традиционно-аграрному) – всё это было предметом рефлексии европейских писателей и публицистов уже в XVIII в.⁵ В первой половине XIX столетия политическая экономия окончательно перерастает рамки академической дисциплины, а её методы и язык используются для осмысления самых разнообразных проблем: политических, общественных, личных⁶. Очень ярко это проявилось и в европейском романе 1830–1840-х гг. (достаточно указать на хрестоматийные произведения О. де Бальзака и Ч. Диккенса)⁷. В это же время, как известно, расцветают разнообразные социальные утопии, также излагавшиеся языком политэкономии.

Понятно, что русское общество внимательно следило за этими процессами и «примеряло» их на себя. Члены же кружка М.В. Петрашевского, участие в котором «сделало» Достоевскому «судьбу», не просто следовали за интеллектуальной модой, а были очень глубоко погружены в язык и миф политической экономии. Стоит ли удивляться, что и по возвращении из ссылки Фёдор Михайлович, размышляя о судьбе страны, активно использовал до боли знакомые понятия и символы этой дисциплины (не берусь назвать тогдашнюю политэкономию «наукой»), в том числе и для её опровержения? Ведь в стране, наконец, появились первые симптомы той новой действительности, которую русские десятилетиями изучали на примере реальной и придуманной Европы! Симптомы только появлялись, а модели для их осмысления давно уже были готовы. Не без трепета и некоторого ликования современники отмечали в конце 1850-х гг., что Россия теперь ничуть не лучше (или хуже) Франции, где спекуляции и биржевая игра десятилетиями сводят с ума не только финансистов, но и самую широкую публику⁸. Карпи приводит многочисленные примеры подобных суждений и на их основании делает вывод о чуть ли не тотальном загнивании российской элиты под властью капитала. Мне кажется,

не стоит выдавать воображенное за действительное. Критика язв капитализма пришла в Россию намного раньше самого капитализма, и только с учётом этого факта можно понять многие особенности общественно-политических процессов пред- и пореформенного времени.

Эволюция политических взглядов Достоевского от умеренного почвеннического либерализма рубежа 1850–1860-х гг. к достаточно радикальной панславистской и антибуржуазной утопии в целом известна⁹. Однако Карпи освещает немало новых и интересных её подробностей. В качестве дополнения к основной части книги в ней помещён ряд статей итальянского филолога на близкие темы, публиковавшихся с начала 2000-х гг.¹⁰ В совокупности эти тексты создают ясное представление о том направлении, в котором Карпи развивал исследование проблемы «русская литература и социальная реальность», а также ставят множество острых вопросов филологического и исторического плана.

Вместе с тем, читая книгу (особенно основную, впервые публикуемую её часть), постоянно ощущаешь резкий диссонанс между рассеянными по ней интересными и часто тонкими наблюдениями и до карикатурности резкими суждениями о пореформенном развитии страны и его отражении в литературе. Предстающая перед нами картина этого развития довольно фантастична. При этом одновременно с экономическим детерминизмом периодически задействуется и психоаналитический (с. 68–71, 74, 86–90). Фрейдистская интерпретация произведений Достоевского не нова и предсказуема, достаточно сказать, что ею занимался уже сам родоначальник психоанализа. Однако сочетание её с упомянутыми выше прочими линиями исследования превращает работу Карпи в весьма сюрреалистическое полотно, в котором «смешались в кучу» проекции подсознания Фёдора Михайловича, его социальные фантазии, идеи автора книги и российская действительность.

Тем не менее в этом коктейле различимы не только отдельные ингредиенты, но и создаваемый ими общий вкус. Конечно, он определяется «базисом». Бурный расцвет акционерного учредительства и спекулятивной биржевой игры конца 1850-х гг.,

пишет Карпи, «стремительно разрушал феодальные структуры», но «вместо того, чтобы просто разлагаться под натиском капиталовладельцев, старая феодально-бюрократическая система сразу начала с ними взаимодействовать», примером чего автор почему-то считает «строительство многоквартирных жилых (т.е. доходных. – *И.Х.*) домов» аристократами графами Бобринским и Шуваловым «в компании известных экономистов-либералов типа Александра Абазы» (который, замечу, никогда не был «известным экономистом»). Биржевые махинации (особенно вокруг Главного общества российских железных дорог) объединили финансистов, купцов, откупщиков и придворных. «Это, кстати, и было главной причиной, по которой, несмотря на очевидное кризисное состояние, в 60-е годы система царской власти уцелела.., – резюмирует Карпи. – Всем был выгоден политический режим, который, учитывая его персоналистский архаизм и непрозрачность, тогдашние олигархи справедливо считали более податливым, нежели любой другой» (с. 43–44).

Если не считать приведённые пассажи «эзоповским» намёком на положение дел в современной России (что было бы довольно абсурдно в научной монографии), нужно признать, что ретроспективная фантазия исследователя простирается гораздо далее визионерских фантазий его героя (хотя и в том же направлении). Так, созданный в 1860 г. Государственный банк оказывается в интерпретации Карпи «простым источником кумовского финансирования» (что якобы доказывается тем фактом, что его возглавил придворный банкир барон А.Л. Штигиц, с. 60). Неудачная попытка восстановления размена рубля на металл в 1862–1863 гг. рассматривается как результат своекорыстного давления мифической «плутократии», а «самой значительной мерой» для преодоления вызванного этой неудачей финансового кризиса была, как выясняется... продажа Аляски (с. 62). Причинами «экономического упадка» в России 1860–1870-х гг. (надо сказать, что этот упадок у Карпи столь же виртуален, как и разорение дворянства в 1830-е гг.) оказываются «финансовая глобализация» и загадочное «поземельное перераспределение после реформы 1861 года» (с. 99).

Количество примеров, мягко говоря, не вполне адекватного восприятия автором исторических реалий можно без труда умножить. Объяснить aberrации несложно: даже не пытаясь вникнуть в эти реалии, Карпи следует за тенденциозно интерпретируемыми им оценками публицистов того времени с целью доказать априорный тезис, что проза Достоевского прямо отражала окружающую писателя социальную реальность. Но в результате выходит совершенно обратная картина: получается, что это сама реальность как бы мимикрировала под сознание писателя. В созданном таким образом фантазматическом мире и находится место для «олигархов», играющих судьбами самодержавия, «финансовой глобализации», тотальной одержимости людей эпохи реформ «непроизводительными накоплениями» и т.п.

На самом деле, приводимые Карпи тексты Достоевского и его единомышленников, на мой взгляд, свидетельствуют скорее об обратном – об автономности сознания (и личного, и общественного) от социально-экономических процессов. Эта автономность, как ни парадоксально, становится особенно очевидной именно тогда, когда сознание концентрируется на этих процессах, делает их поводом и темой для размышлений и переживаний. Знаменитый швейцарский филолог Жан Старобински когда-то совершенно обоснованно предупреждал, что «письмо (как процесс, *l'écriture*. – *И.Х.*) – не сомнительный посредник в передаче внутреннего опыта, оно и есть сам этот опыт»¹¹. Но ещё меньше оснований считать, что тексты, порождённые таким опытом, непременно должны транслировать множество внеположных им, зато близких исследователям этих текстов смыслов: социологических, классовых, психоаналитических.

Разумеется, как профессиональный филолог, профессор Карпи не может не осознавать, чем чреват подобный, используя его собственный термин, «редукционизм». В предисловии он цитирует своего учителя М.И. Шапира, по словам которого, «благодаря долгим разысканиям мы можем твёрдо сказать, чем отличаются друг от друга язык и поэтика разных текстов, но, к сожалению, мы всё ещё не в

состоянии, исходя из их языка и поэтики, сделать научно приемлемое заключение об их авторе – в качестве реального объекта изучения его для филологии не существует». Но, добавляет Карпи, «распознать социальный характер и социальную судьбу того мира, который структурируется в произведении, можно и должно» (с. 18). Конечно! Но давайте *изучать* этот характер и эту судьбу, а не превращать реальный мир в проекцию чьего бы то ни было сознания.

И.А. Христофоров

Примечания

¹ См.: *Рейтблат А.И.* Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001; *он же.* От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., 2009.

² О том, что марксово понятие «Gebrauchswert» следует переводить как «ценность», а не «стоимость» см.: *Цвайнерт Й.* История экономической мысли в России, 1805–1905. М., 2008. С. 224–225.

³ *Goldmann L.* Towards a sociology of the novel. N.Y., 1975. P. 7–15 (французский оригинал книги опубликован в 1964 г.).

⁴ Далее речь идёт даже о «вымирании» дворянства, отразившемся якобы уже в творчестве Пушкина, которое, как выражается Карпи, представляло собой «попытку зализать социальные раны» (с. 14).

⁵ См.: *Thompson J.* Models of value: eighteenth century political economy and the novel. Durham, 2006; *Shovlin J.* The political economy of virtue: luxury, patriotism, and the origins of the French revolution. Ithaca, 2006; *Gray R.T.* Money matters. Economics and the

German cultural imagination, 1770–1850. Seattle, 2008.

⁶ См., например: *Swedberg R.* Tocqueville's political economy. Princeton, 2009.

⁷ См.: *Wagner T.S.* Financial speculation in Victorian fiction: plotting money and the novel genre, 1815–1901. Columbus, 2010; *Jaffe A.* The affective life of the average man: the Victorian novel and the stock-market graph. Columbus, 2010; *Mortimer A.K.* For love or for money: Balzac's rhetorical realism. Columbus, 2011. Я перечисляю только самые последние работы на эту тему. Полный список подобных исследований занял бы много страниц. Однако ни одно из них в книге Карпи не упомянуто.

⁸ Кстати, как показал уже полвека назад Рондо Кэмерон, и во Франции развитие капитализма отнюдь не сводилось к биржевым спекуляциям, да и сами эти спекуляции были не столько «производством капиталов из воздуха», сколько лишь одним из аспектов бурного экономического (в том числе промышленного!) роста. См.: *Cameron R.E.* France and the economic development of Europe, 1800–1914. Conquests of peace and seeds of war. Princeton, 1961.

⁹ См., в частности: *Твардовская В.А.* Достоевский в общественной жизни России (1861–1881). М., 1990.

¹⁰ Перечислю названия этих статей: «“Умственная оргия”. Ф.М. Достоевский и тверские либералы»; «Ф.М. Достоевский и судьбы русского дворянства (по роману “Идиот” и другим материалам)»; «Почвенничество и либерализм (А.П. Щапов и журнал “Время”)»; «Были ли славянофилы либералами?»; «“Деньги до зарезу нужны”: темы денег и агрессии в “Братьях Карамазовых”». За пределами книги осталась интересная статья: *Карпи Г.* Гоголь-экономист (второй том «Мёртвых душ») // Вопросы литературы. 2009. № 3. С. 304–318.

¹¹ *Starobinski J.* La relation critique. P., 1970. P. 18.

Очерки русской культуры. Конец XIX – начало XX века. Т. 2: Власть. Общество. Культура. М.: Изд-во Московского университета, 2011. 740 с.

Увидел свет второй том «Очерков русской культуры. Конец XIX – начало XX в.», подготовленный учёными исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова совместно с исследователями академических учреждений Москвы и вузов других горо-

дов (руководитель проекта Л.В. Кошман). Как следует из подзаголовка («Власть. Общество. Культура»), содержание тома вбирает в себя компоненты культуры, не входящие в пространство общественно-культурной среды (это тема первого тома) и художественной культуры (она рассмат-